

СТОИТ ЛИ отрывать художника от стола, если давно известно, что лучшие ответы на все вопросы уже даны им в книгах и надо только со вниманием читать их? Пожалуй, можно было бы, как один остроумный английский журналист, положить перед собою книги писателя (он проделал это с Набоковым) и только поставить к ним соответствующие вопросы от общечеловеческих до самых интимных, и художник «ответит», не краснея перед последней тайной. Но, зная это, мы все-таки всякий раз, когда предоставляется возможность, торопимся спросить художника обо всем на свете. Это понятно и в покойные времена естественного движения жизни, а уж сейчас, когда обстоятельства меняются чуть ли не в течение дня, такой интерес к прямому суждению художника оправдан вдвойне.

С Виктором Петровичем Астафьевым мы встретились, когда еще кипели отголоски его выступления на конференции историков и писателей и шла в Красноярск резкая почта. И вопросы поначалу, конечно, были о том, как проходит по сердцу эта ломающая наши представления общая историческая черта. И как было с именем Сталина на войне: ведь именно отношение к этому человеку так размежевало теперь взгляды? Как пересматривать старые свои представления, если прожила целая жизнь? И как вообще формировалось мировоззрение писателя и прозревала его собственная душа?

— Ну, мне, пожалуй, было легче. Меня сама жизнь рано начала учить трезвому взгляду. Я прошел Игарку с ее особенным сырьем-поселенческим бытом. Дитем я уже видел расстрелянных людей, валяющихся на жухлой, примороженной траве... Раз пришел в интернат парнишка, принес полную горсть гильз — целое состояние тогда для нас! Откуда? — не говорит. Потом пошли вдвоем, и вот тогда я увидел... Там тюрьма была недалеко. Лежат в устье лога. Хоронить невозможно — мерзота, да и некому. Значит, их оставят под снег, их съедят песцы, полноводье весной смоем в речку Медвежьей и разнесет кости. А там ниже люди воду берут, но никто с этим не считался. Да я и сам думаю об этом только сейчас... Мы тогда к ним не подходили, хотя Женя-ка все время говорил, что вон там вроде его отец лежит. Да тогда и редкий бы парень решился. И не того боялись, что мертвые, а того, что увидят и тебя тоже...

Потом я долго лежал в больнице — ногу тяжело избили! Лежали рядом и неграмотные мужики, но были и грамотные. За период Советской власти все-таки крестьянство подвинулось далеко. Мы бы вообще во куда шагнули с нашими мужиками, если бы не ломать, не уродовать. Я достал тогда первую книгу «Поднятой целины», читал и все хихикал. Что мне — 15 лет! Шукаря читаю и хихикаю. А лежал после резекции язву желудка мужик, все поглядывал на меня. «Что», — говорит, — хочешь? «Поднятую целину», поди, читаешь?» Ну, и в течение недели они мне, значит, грамотные и неграмотные, объясняли, что такое новое хозяйствование и как оно там на самом деле... Сейчас скажешь «Шолохов» — все хором: «Тихий Дон» — великая книга! Кто спорит! Маргарет Митчелл написала «Унесенные ветром» и больше ничего и осталась в истории американской литературы. Вот и Михаил Александрович остановился бы на «Тихом Доне» и «Донских рассказах» и все равно был бы великим художником.

А со Сталиным... Я единственный раз за всю войну видел под Белевом на батарее на снарядках написано: «За Сталина!».

Больше не видел и не слышал, кроме как в беседах политруков, которые приходили в затишье, но это была беседа — им так полагалось. Я не скажу, чтобы его ругали, но и поклонения особого не было ни перед кем, кроме, может, командира, который и накормить может, и согнать. Редь были тоже иногда его достойные выкорышки, такой же культ — командир батареи, командир дивизиона: отдельно ест, отдельно спит, отомстить всегда может — способов много.

А чтобы кричали в атаке «За Сталина!»... Да не до этого там, не до этого! То ли звук какой-то

цию, и нас посылали на снегоборьбу и давали карточки и десять рублей денег. И мы этим спаслись, а то хоть грабь. Да о ком было заботиться? До чего тут было? Когда я учился на плотника в вагонном депо, я получал 250 рублей — это в старом исчислении. И это на семью — у меня уже было двое детей и не было угла. Да мне после того, как я попал в редакцию на теплую работу, на 600 (по тому же исчислению) рублей, оставалось только радоваться, и что от меня ни требовали, я все писал. Пропали все пропадом! Я любую информацию напичку —

ная черта, всегда отличавшая русскую литературу, — самобытность, а значит — самостоятельность. Иногда уж думаешь: пусть бы неумело, да по-своему. Нет, гладко все. Очень много подражательного, идущего от литературы. Писатель пошел комфортабельный, уютный, все знания нажил, не выходя из квартиры, из института, в добрых кабинетных условиях. Это главный подарок застою — жизни нет, а формального мастерства хоть отбавляй. Тут и судить не знаешь как, потому что никогда точно не определишь, кто кому подкалывает: время — литературе или

крашал. Хорошо хоть и в таком виде «Царь-рыба» сделала много полезного в сознании и кто знает — была ли бы так же современна, если задержать. Первый раз я видел свою книгу равно у браконьера и рыбнадзора засаленную и рваную — это у тех, кто обычно ничего не читает.

— В связи с этим, с публицистикой «Царь-рыбы», вообще с популярностью и нарастающим перевесом публицистики — нет ли тут и тревожного чего? Ведь вот Носов давно не пишет прозу, Распутин оставил ее для иных, горько-важных, но не для

и невозможен. Даже Булгаков — это мое личное ощущение — только четвертинка Достоевского, мы подчеркиваем его значение, потому что вокруг по нынешним мерам некого с ним сравнить, некого рядом поставить. А Руси гоголевской все нет — чистой, невыносимой, светлой, живой. И всегда драгоценного и высоко стоящего в нашей литературе сомнения нет. Все вдруг стали правы и так и кроют. Знание наше новое, правда, внезапная так возбуждают, что всяк себя правым чувствует. Это и хорошо, но только если в гордыню не переходит. Не от чего нам возгордиться-то — даже от правды нашей. И знания ведь даны не для того, чтобы «побеждать» невежественного или заблудившегося человека, а разбудить его, помочь увидеть, что с ним случилось, и укрепить его силы для возможного воскрешения.

Сейчас нам всем трудно. Народ устал от хамства обслуживающей системы, от очередей, ожиданий, прошений, от того, что все это сам себе из-за спутанности понятий и создает. И в литературе жизнь кажется сбившейся и вызывает раздражение. Но, может, не надо торопиться раздражаться, надо, может, вспомнить, что у нас это не первый раз — если припомнить, как Достоевский с Салтыковым препирались, как Писарев своих оппонентов отчитывал или как в литературе после революции разговаривали, так сейчас еще все обходительно. Старый опыт учит, что ни к чему хорошему эти самоедские войны не приводили. И надо бы когда-то и уважению к себе и делу своему учиться и жить без поношения.

Однако главное и дорогое сейчас все-таки то, что мы стали задумываться. Это серьезно и важно. И, слава богу, основа при всей загниваемости и разболтанности на глубине сохраняется здоровая. Это и Праздник славянский в Новгороде показал, и крепнувший семейный подряд, и желание дела у молодых. Вот уже вычитал в «Красноярском рабочем» — группа студентов пишет: что это вы все болтаете и мы за вами? Что мы конкретно можем сделать для Енисея? Возьмите нас, у нас есть здоровые руки! И я радуюсь, что не в одной Москве, а и у нас появилось много желающих Качу чистить, улицы прибирать, деревья сажать. И старые не дают рубить, не дают забакать территории заводами. Есть, есть неиссякающие силы! Чувство достоинства пробуждается, гражданское самосознание, совсем было изведенное, опять вперед выходит. Если только дадут человеку почувствовать себя хозяином, «сделает он очень много. Здоровое начало живо, и хороших людей больше, чем плохих. Может, плохие хорошо таятся, но хочется верить, что здоровая часть народа, хоть разброда, неорганизованного, все-таки объединится общим устремлением и мы понемногу поправим страну, а там и в порядок приведем. Надо жить...

О чем можно вытосить за час-полтора, день, неделю? Вероятно, обо всей жизни, но большой художник тем и замечателен, что и малое у него будет отличаться только объемом, а не содержанием. В этих простых размышлениях нет ничего необычного или особенно нового, но в них есть более дорогое — интонация достойно и несуетливо продолжающейся жизни и понимание, что история не отвлекая дисциплина, а собрание человеческих судеб, и судить о ней нужно бережно и терпеливо, с сознанием ценности всякой отдельной судьбы. А работать — как всегда работал русский человек — с памятью о Родине и здоровой жизни сегодня, завтра, всегда.

Беседовал
В. КУРБАТОВ.

Виктор АСТАФЬЕВ: ОБЪЕДИНИТЬСЯ ОБЩИМ УСТРЕМЛЕНИЕМ

«а-а» или «о-о», или матерятся. Даже немцы, идя в атаку, матерились по-русски, паразиты! Гвалт стоит, хрип, человеческого мало. Как верно написал мне один командир роты из-под Тамбова — ведь в атаку идут полусматривающие люди, оставшиеся в окопах разум. И здесь помнишь о товарище Сталине, кричать «Ура!» — это все глупость неслучайная. Какой Сталин! Какие из-за него размежевания! Чего глупости-то говорить...

Или вот это что такое? В биографии Черненко написано, что он в 43 — 44-м годах учился в Высшей школе парторганизаторов. В это время на передовой, как написал Богомолов, был «катастрофический недокомплект» (как капитан написал — здорово!). А этот «недокомплект» что? У нас ни разу не было столько народу, сколько полагалось во взводе управления дивизиона. Ни разу! А это же артиллерия — тут работы вон сколько: надо выкопать блиндаж, траншею к стволу, связь натянуть, и потом для себя копать уже сил нет. У меня вот только что фронтовой друг гостил — Петр Николаенко. У него тогда гимнастерка уж, как хромовая, была. Свернешь ее на спине, а из нее такая жижга, нитин. Он с этим спал, не просыхала она. Это страшно. И он, как и все, часто думал: скорей бы убили. Это он-то при его здоровье и нетребовательном характере. А ведь были люди раннее, пожившие. Край был. Недокомплект. А товарищ Черненко в высшей школе учится, к управлению страной готовится. Тут про мировоззрение и думать не надо — оно само складывается.

— На той же конференции вы спрашивали сверстников, как же после такого ада случилось то, что случилось? Как прошедшие такую войну люди, уже и самой смерти не боявшиеся, стерпели последующее духовное запустение и унижение? Действительно — как?

— Ну, во-первых, нельзя забывать нашу вековую привычку к пассивности, желание перевалить ответственность на другого и подчиниться ему — это и сейчас не слабее, чем встарь. А во-вторых, конечно, усталость. Мы вставали на учет в Чусовом полтора месяца. Военкомат маленький (и сейчас, при всех наших тратах на армию, призывы наши безобразны, ребят на улице держат по неделе), а тогда нас демобилизовали — первая очередь не прошла, а уж вторая наступает. Мы сидели на полу вокруг таза с окурками, и я услышал там такой роман, что в жизнь его не запишешь, — приходили орлы всякие. Хорошо в тот год нанесло в Чусовой снегу, завалило узловую стан-

цию, и нас послали на снегоборьбу и давали карточки и десять рублей денег. И мы этим спаслись, а то хоть грабь. Да о ком было заботиться? До чего тут было? Когда я учился на плотника в вагонном депо, я получал 250 рублей — это в старом исчислении. И это на семью — у меня уже было двое детей и не было угла. Да мне после того, как я попал в редакцию на теплую работу, на 600 (по тому же исчислению) рублей, оставалось только радоваться, и что от меня ни требовали, я все писал. Пропали все пропадом! Я любую информацию напичку —

наоборот. Но читателя уже начинаешь жалеть — он и так, бедолага, жизни не видит, так вот, оказывается, она и из литературы ушла.

Но все-таки совестливых людей, совестливых писателей, и не в одном моем поколении, еще очень много. Я думаю, что поколения через два явится даже и новая самобытность. Скорее всего явится она из новых отношений в огромных наших городах, из ненависти к ним, потому что любить такие города и такую действительность нельзя. Произойдет, может быть, и у нас смятение с деревней, как оно происходит в Европе, когда живут в городе, а работают в деревне — когда-то ведь налаدت-ся наконец и наши дороги, и автомобили. Думаю, что эта среда и произведет нового самобытного Гоголя. Сейчас все только на подступах. И хоть для меня многое идет в нежелательную сторону, но что же все на себя ориентироваться? Есть много читателей у Макакина, Кима, Киреева, Битова. Мне эта литература чужая, но нарождаются новые читатели и новые писатели, хорошо понимающие друг друга.

Я думаю, что новая будущая литература будет мало похожа на нашу. И как мы сейчас с восторгом и умилением читаем Гоголя, Толстого, чуть смешного нашей тяжелой действительности усадебного Тургенева — уже как бы не всерьез, восхитаясь как художниками, но улыбаясь быту (так бы и пожил как «старосветские помещики» — без властей, полицейских...), так, наверно, новое поколение будет читать нас — с полуосмешкой, полуиронией. Ну, дай им бог сил и здоровья! Преодоление предстоит огромное. Литература находится на очень сложном переломном периоде истории не только нашей страны, но и человечества. Человечество-то тоже ведь не может сейчас похвастаться значительной литературой. Появился Маркес — вот за него держимся. И это хорошо, потому что большая литература быстро не делается. У нас вон огромное явление Шолохов с «Тихим Доном», Платонов, Булгаков, Твардовский в поэзии. Четыре имени, но это необычайно много, если учесть, что давали и теснили. И наследие их особенно ценно тем, что они не дрогнули, — ни Платонов, ни Булгаков, оставаясь голодными и презренными, но писали, что хотели. А мы из своего сытого комфорта не всегда решаемся дерзнуть на что-то. Я вот сам тридцать лет раба из себя выдал — не по капле даже (капля — много!), а по маковому зерну, но успел изуродовать «Пастушку», «Царь-рыбу». Булгаков не уродовал, а я уродовал, менял на ходу тексты, со-

— Сейчас, по-моему, этот вопрос о наследовании, о духовном продолжении особенно тревожен. Вы ведь много читаете, да и по своей обширной переписке хорошо, наверно, представляете сегодняшнее положение нашей, особенно молодой, литературы?

— Больших выводов на ходу, конечно, не сделаешь, но какие-то мысли приходят. Я ведь читаю больше повеле: рукописей много приходит, а отказывать никак не научусь. Так самое печальное, что из книг молодых исчезает понемногу самая глав-

литературы назначенных дел. Не слишком ли великий налог берет общество со своей лучшей литературы и хорошо ли распоряжается своими талантами, обрекая их решать экономические, природоохранные и иные народнохозяйственные задачи вместо тех людей, кому это положено просто по долгу службы и человеческой ответственности? А может, время доброй старой прозы вообще отошло и нам уже не надобны ни «Анна Каренина», ни «Воскресение»?

— Это самое сложное. Я и сам уже месяцев десять не могу ничего написать, отделившись беседами и исполнением общественных обязанностей. Мне, чтобы за стол сесть, надо, чтобы он был чист. А у меня одних писем сотни и все — как к прокурору, как к попу — на 16, на 20 страницах, по целой тетради. И часто пустяки. Очень много развелось социологов-самоучек. Прочитает одну книжку, понапридумает чего-нибудь и пошел тебя учить. Прочитает невинно, не до конца, примерит к себе мысли, которые сложнее его, и начинает отчитывать за то, что ему непонятно, хотя никаких уж таких неразрешимых проблем философии, истории, этики в моих книгах нет. Ну публицистика, может, смущает в «Зрелом посохе», в «Детективе», но куда теперь без нее? Когда другие, кому это положение, своим делом не занимаются и от этого начинают страдать Родина и человек, тут литература не до самой себя, не до покойной прозы, и она идет делать эту чужую работу или, оставив ее, если та, как часто у нас, ведется дико и вредно, как в случае с Байкалом или поворотом рек. Публицистика-то ведь не от желания художника, а от неволи. Я люблю просторный русский рассказ вроде толстовского «Отца Сергия» или горьковского «Коновалова» и сам написал в последнее время пару — «Тельняшка с Тихого океана» и «Жизнь прожить». И больше бы написал, да другие заботы не дают. И почта отвлекает — все чаще писатели одной книги, вояки, хотя, чтобы их читали, писали о них, хвалили, будто они первые правду-то написали. И в голову не придет предшественников прочитать — в русской литературе столько правды, что нам карабкаться и карабкаться и ногти в кровь содрать, чтобы дойти до Толстого, Достоевского, Чехова.

Мы действительно где невольники, а где уж и от торопливости и снисходительности к себе размениваемся на мелочи и вот-вот потеряем инструмент и для «Отца Сергия», и для «Мертвых душ». Да, кажется, в наше время художник такого таланта уже